

**ВРЕМЯ *SECOND-HAND***  
(*КОНЕЦ КРАСНОГО ЧЕЛОВЕКА*)

Мать . . . . . 5  
Сын . . . . . 21

АЛЕКСИЕВИЧ Светлана  
**ВРЕМЯ *SECOND-HAND***  
(*Конец красного человека*)

Печатается в авторской редакции

*For presentational & educational purposes only*  
(серия [letterra.org](http://letterra.org): 011)

## ВРЕМЯ *SECOND-HAND* (КОНЕЦ КРАСНОГО ЧЕЛОВЕКА)

### Мать

*Анна М-ая – архитектор, 59 лет*

–А-а... я? Я так больше не могу... Последнее, что помню – крик. Чей? Не знаю. Мой? Или это соседка кричала, она услышала на лестничной площадке запах газа... Вызвала милицию... *(Встает и идет к окну.)* Осень... Была желтая, а сейчас черная от дождей. И свет даже днем где-то далеко-далеко, с утра уже темно. Мне не хватает света... Включаю в доме все лампочки, и они горят весь день... Иногда хочется куда-нибудь уехать... *(Возвращается и садится напротив.)*

...Сначала мне приснился сон, что я умерла... В детстве я много раз видела, как умирают люди, а потом я об этом забыла. Не понятно, почему плачу? Я же все знаю... Я все о своей жизни знаю... Во сне надо мной кружилось много-много птиц... начинали биться в окно... Я проснулась... и такое чувство, что у моей головы кто-то стоит. Хочу повернуться, чтобы увидеть – кто это? Какой то страх... какое-то предчувствие, что этого делать не надо. Нельзя! *(Молчит.)* Я о другом... о другом хотела... Не сразу об этом... Вы спросили о детстве... *(Закрывает лицо руками.)* Вот уже слышу... Слышу сладкий запах мать-и-мачехи... И горы вижу, и деревянную вышку, и солдата на ней – зимой в тулупе, весной в шинели. И железные кровати, очень много железных кроватей, они одна возле одной стоят. Одна возле одной... Мне раньше казалось: если я кому-нибудь это расскажу, мне захочется убежать от этого человека, чтобы больше никогда его не видеть. Все такое мое... и глубоко-глубоко запрятано... А я никогда не жила одна, я жила в лагере в Казахстане, он назывался Карлаг, после лагеря – в ссылке. Жила в детдоме, в общежитии... в коммуналке... Всегда много-много других тел, других глаз...

Свой дом у меня появился, когда мне было уже сорок лет. Нам дали с мужем двухкомнатную квартиру, у нас уже дети выросли. Я бегала к соседям по привычке, как в общежитии, одалживала то хлеб, то соль, то спички, и они меня за это не любили. А я никогда не жила одна... отдельно... и не могла привыкнуть... Еще мне всегда хотелось писем. Ждала конвертов, конвертов! И сейчас жду... Мне пишет одна подруга, она уехала к дочке в Израиль. Спрашивает: что у вас там... какая жизнь после социализма? А какая у нас жизнь? Идешь по знакомой улице: французский магазин, немецкий, польский, – все названия на чужих языках. Чужие носки, кофточки, сапоги... печенье и колбаса... Нигде не найти нашего, советского... знакомого... Я только и слышу со всех сторон: жизнь-борьба, сильный побеждает слабого, и это естественный закон. Надо нарастить себе рога и копыта, железный панцирь, слабые никому не нужны. Всюду локти, локти, локти. Это – фашизм, это – свастика!! Я – в шоке... И в отчаянии!! Это – не мое. Не мое это! (*Молчит.*) Если бы кто-то рядом... кто-то был... Мой муж? Он ушел... ушел к другой женщине... А я его люблю, я – однолюб... (*Вдруг улыбнулась.*) Поженились мы с ним весной, когда черемуха расцвела и сирень уже на подходе. И ушел весной... Но он приходит... приходит ко мне во сне и все никак не может проститься. Что-то говорит-говорит, А днем... Бывает, что за целый день не произнесешь ни одного слова. Я глухну от тишины... Слепну... С прошлым у меня отношения, как с человеком... как с кем-то живым... Помню, как в «Новом мире» напечатали и все читали «Один день Ивана Денисовича» Солженицына. У всех – потрясение! Столько разговоров! А я не понимала, почему такой интерес и такое удивление? Мне было всё знакомое, абсолютно для меня нормальное: зэки, лагерь, параша... И – зона...

...В тридцать седьмом арестовали моего отца... отец работал на железной дороге. Мама бегала, хлопотала, доказывала, что он не виноват, и это ошибка. Обо мне она забыла... Забыла обо мне... Когда вспомнила, захотела избавиться, то было уже поздно, Она пила всякую гадость... залазила в горячую ванну... И... родился недоношенный ребенок... Но я выжила... Я зачем-то выживала много раз... Много раз! Скоро маму тоже арестовали и меня вместе с ней, так как нельзя было оставить ребенка одного в квартире, мне было четыре месяца. Двух старших сестричек мама успела отправить к папиной сестре в деревню, но из энкавэдэ пришла бумага: привезти детей назад в Смоленск. Их забрали прямо на вокзале: «Дети

будут в детдоме. Может, комсомольцами вырастут». Даже адреса не дали. Девочек мы нашли, когда они уже были замужем, у них уже были свои дети. Через много, много лет... В лагере, до трех лет я жила вместе с мамой. Все маленькие дети жили с мамами. Это я от мамы потом узнала... Мама вспоминала, что маленькие дети часто умирали. Зимой умерших складывали в большие бочки, и там они лежали до весны. Их обгрызали крысы. Весной хоронили... хоронили то, что сохранилось... С трех лет детей помещали в детский барак. С четырех... нет, наверное с пяти лет я уже что-то помню... Эпизодами... Утром через проволоку мы видели: наших мам строят, считают... Их считали и уводили на работу. Уводили за зону, куда нам ходить запрещалось. Когда меня спрашивали: «Откуда ты, девочка?» – я отвечала: «Из зоны». «Зазона» – это был другой мир, что-то непонятное, пугающее, для нас не существующее. Пустыня там, песок, сухой ковыль... Мне казалось, что пустыня там до самого края, и другой жизни, кроме нашей, нет. – Нас охраняли наши солдаты, это вот да... мы гордились! У них были звездочки на фуражках... Был у меня дружок Рубик Циринский... он водил меня к мамам через лаз под проволокой. Всех построят идти в столовую, а мы спрячемся за дверью. «Ты же не любишь кашу?» – спрашивал Рубик. А я всегда хотела есть и очень любила кашу, но ради того, чтобы увидеть маму, я согласна была на все. И мы ползли в барак к мамам, а барак был пустой, мамы все на работе. Мы знали, но все равно ползли... обнюхивала там все... Железные кровати, железный бачок для питьевой воды, кружка на цепочке, – все это пахло мамами. Землей... и мамами... пахло... Иногда мы там находили чьих-то мам, они лежали на кровати и кашляли. Чья-то мама кашляла кровью... Рубик сказал, что это мама Томочки, которая у нас самая маленькая... эта мама скоро умерла. А потом умерла сама Томочка, и я долго недоумевала: кому сказать, что Томочка умерла? Ее мама тоже умерла... *(Замолкает.)* Я это рассказывала маме... через много, очень много лет... Мама мне не верила: «Тебе было всего четыре годика». А я вспоминала, что она ходила в брезентовых ботинках на деревянной подошве... и из каких-то маленьких кусочков шила большие фуфайки. И она снова удивлялась и начинала плакать. Помню... Помню аромат кусочка дыни, который мама мне принесла... размером с пуговицу, в какой-то тряпочке... И как однажды мальчики позвали меня играть с кошкой, а я не знала, что такое кошка. Кошку принесли из-за зоны,

в зоне кошек не было, они не выживали, потому что не оставалось никаких остатков еды, мы все подбирали. Все время смотрели под ноги, чтобы такое найти и съесть. Ели какую-то траву, корешки, облизывали камешки. Нам очень хотелось угостить чем-то кошку, но у нас ничего не было, и мы кормили ее своей слюной после обеда и! – она ела. Она ела!! Помню, как мама однажды хотела дать мне конфету. «Анечка, возьми конфету!» – позвала она меня через проволоку. Охранники ее отгоняли... она упала... ее тянули по земле за длинные черные волосы... Мне было страшно, я представления не имела, что такое конфета. Никто из детей не знал, что такое конфета. Все испугались и поняли, что меня надо спрятать, и затолкали в серединку. Меня всегда дети ставили в серединку: «Потому что Анечка у нас падает».*(Обхватывает голову руками.)* Не понятно, почему... плачу? Я же все знаю... Я все о своей жизни знаю... *(Долго молчит.)* Забыла, о чем я? Мысль не закончена... Не так ли? Не закончена...

Страх был не один... Было много страхов, больших и маленьких. Мы боялись расти, боялись, что нам будет пять лет. В пять лет вывозили в детдом... мы понимали, что это куда-то далеко... далеко от мам... Меня, как сейчас помню, вывезли в детдом номер восемь поселка номер пять. Все было под номерами... а вместо улиц – линии; линия первая, линия вторая... Нас погрузили в грузовик и повезли. Мамы бежали, цеплялись за борта, кричали, плакали. Помню, что мамы плакали всегда, а дети плакали редко... Не были мы капризными... не баловались, не смеялись... Плакать я научилась уже в детдоме. В детдоме нас очень сильно били. Нам говорили: «Вас можно бить и даже убить, потому что ваши мамы – враги». Пап мы не знали. «Твоя мама плохая». – Не помню лица женщины, которая мне это повторяла и повторяла – «Моя мама – хорошая. Моя мама – красивая». – «Твоя мама – плохая. Она – наш враг». Я не помню, произносила ли она само это слово «убить», но что-то такое... какие-то слова были. Какие-то страшные слова... Какие-то... да... Я даже боялась их запомнить. У нас не было воспитателей, учителей, таких слов мы не слышали, у нас были командиры. Командиры! У них в руках всегда длинные линейки... Били за что-то и просто так... просто били... Мне хотелось, чтобы меня били так, чтобы остались дырки, и тогда перестанут бить. Дырок у меня не было, зато гнойные свищи покрыли все тело. Я обрадовалась... У моей подружки Олечки были металлические скобочки на позвоночнике, ее нельзя было

бить. Все ей завидовали... *(Долго смотрит в окно.)* Я никому это не рассказывала. Я боялась... А чего я боялась? Не знаю... *(Задумывается.)* Мы любили ночь. Ждали, чтобы скорее наступила ночь. Темная-темная ночь. Ночью к нам приходила тетя Фрося, ночной сторож. Она была добрая, она нам рассказывала сказку про Алёнушку и Красную Шапочку, приносила в кармане пшеничку и давала по несколько зернышек тому, кто плакал. Больше всех у нас плакала Лилечка, она плакала утром, вечером плакала. У нас у всех была чесотка, толстые красные чирьи на животе, а у Лилечки под мышками были еще волдыри, они лопались гноем, Помню, что дети доносили друг на друга, это поощрялось. Больше всех доносила Лилечка... Казахский климат суровый – зимой сорок градусов мороза, а летом сорок градусов жары. Лилечка умерла зимой... Если бы она дожила до травы... Весной бы она не умерла... Не... *(Умолкает на полуслове.)*

Нас учили любить... Больше всех любить товарища Сталина... Первое в своей жизни письмо мы писали ему – в Кремль. Это было так... Когда мы выучили буквы, нам раздали белые листы и под диктовку мы писали письмо самому доброму, самому любимому товарищу Сталину. Нашему вождю. Мы его очень любили, верили, что получим ответ и что он нам пришлет подарки. Много подарков! Смотрели на его портрет, и он нам казался таким красивым. Самым красивым на свете! Мы даже спорили, кто сколько лет своей жизни отдаст за один день жизни товарища Сталина. На Первое Мая нам всем выдавали красные флажки, мы шли и радостно ими махали. По росту я была самая маленькая, стояла в конце и всегда переживала, что мне не достанется флажок. Вдруг не хватит! Нас все время учили, нам говорили: «Родина – это ваша мать! Родина – ваша мама!» А мы у всех взрослых, которых встречали, спрашивали: «Где моя мама? Какая моя мама?». Никто не знал наших мам... Первая мама приехала к Рите Мельниковой. У нее был изумительный голос. Она нам пела колыбельную: «Спи, моя радость, усни./ В доме погасли огни... / Дверь ни одна не скрипит,/ Мышка за печкою спит...» Мы такой песни не знали, мы эту песню запомнили. Просили: еще, еще. Я не помню, когда она кончила петь, мы заснули. Она нам всем говорила, что наши мамы хорошие, что наши мамы красивые. Все мамы красивые. Что наши мамы все поют эту песню. Мы ждали... Потом пережили страшное разочарование – она нам сказала неправду. Приезжали другие мамы, они были некрасивые, больные, они не умели петь.

И мы плакали, плакали навзрыд... плакали не от радости встречи, а от огорчения. С тех пор я не люблю неправду... не люблю мечтать... Нас нельзя было утешать неправдой, нельзя было обманывать: твоя мама жива, а не умерла. Потом оказывалось... нет красивой мамы или, вообще, мамы нет... Нет! Все мы были очень молчаливые. Не помню наших разговоров... помню прикосновения... Моя подруга Валя Кнорина до меня дотронется, и я знаю, о чем она думает, потому что все думали об одном и том же. Знали друг о друге интимные вещи: кто пѣсается ночью, кто кричит во сне, кто какую букву картавит, Я все время ложкой зуб себе выпрямляла. В одной комнате – сорок железных кроватей... Вечером – команда: сложить ладошки и – под щеку, и всем – на правый бочок. Должны были делать это вместе. Все! Это была общность, пусть животная, пусть тараканья, но меня так воспитали. Я до сих пор такая... *(Отворачивается к окну.)* Лежим-лежим ночью и начинаем плакать... Все вместе: «Хорошие мамы уже приехали...» Одна девочка сказала: «Не люблю маму! Почему она так долго не едет?!» Я тоже обижалась... вспоминала, какие у мамы красивые черные волосы... *(Вытирает слезы.)* Утром мы хором пели. *(Тут же начинает напевать.)* «Утро красит нежным светом/ Стены древнего Кремля./ Просыпается с рассветом/ Вся советская земля...» Красивая песня... Мне она и сейчас красивая...

Первого мая! Больше всех праздников на свете мы любили Первое Мая. В этот день нам выдавали новые пальто и новые платья. Все пальто одинаковые и все платья одинаковые. Ты начинаешь их обживать, делаешь метку, ну, хотя бы какой-то узелок, или складочку, что это твое... часть тебя... Нам говорили, что Родина – это наша семья, она о нас думает. Перед первомайской линейкой выносили во двор большое красное знамя. Стучал барабан. Один раз... даже – чудо! приезжал к нам генерал и поздравлял. Всех мужчин мы делили на солдат и офицеров, а это был генерал. Штаны с лампасами. Лезли на высокий подоконник, чтобы увидеть, как он садился в машину и махал нам рукой. «Ты не знаешь, что такое – папа?» – спросила меня вечером Валя Кнорина. Я не знала... И она тоже... *(Молчит.)* Был у нас Степка... Руки сложит, как будто он с кем-то вдвоем и кружится по коридору... в вальсе. Сам с собой танцует... Нам смешно, а он ни на кого не обращал внимания, ни с кем не разговаривал. Его даже к врачам водили... А однажды утром он умер, не болел и умер. Сразу умер. Долго его не забывали... Говорили, что

папа у него был большой военачальник... очень большой... тоже генерал. А потом и у меня появились волдыри под мышкой, они лопались. И было так больно, что я плакала. Игорь Королев поцеловал меня в шкафу... Мы учились в пятом классе... *(Смеется.)* Я начала выздоравливать... Выжила... Опять! *(Вдруг почти кричит.)* Разве это кому-нибудь сейчас интересно? Назовите мне – кому? Не интересно и не нужно давно. Страны нашей нет и никогда уже не будет, а мы есть... старые и противные... со страшными воспоминаниями и затравленными глазами... Мы есть! А что сегодня осталось от нашего прошлого? Только то, что Сталин залил эту землю кровью, Хрущев сажал на ней кукурузу, а над Брежневым все смеялись. А наши герои? О Зое Космодемьянской в газетах уже пишут другое... что она болела шизофренией после перенесенного в детстве менингита и у нее была страсть поджигать дома. А Александр Матросов пьяный бросился на немецкий пулемет, а не спасал товарищей. Ну, а Павлик Морозов... тот донес на родного отца!! Какие это герои? Рабы, винтики... советские зомби! А сейчас, кто герой? Мальчики в малиновых пиджаках... на мерседесах? *(Немного успокоившись.)* А мне до сих пор снятся лагерные сны... Я до сих пор не могу спокойно на овчарок смотреть, милиционеров боюсь... любого человека боюсь в военной форме... *(Сквозь слезы.)* Я так больше не могу... Открыла газ... включила все четыре конфорки... Захлопнула форточки и задернула наглухо шторы. У меня ничего не было такого... чтобы... когда страшно умирать. *(Молчит.)* Когда что-то еще держит... Ну, запах головки маленького ребенка... Даже деревья под окном у меня нет... Крыши... крыши... другие крыши... *(Молчит.)* Поставила букет цветов на столе... Включила радио... И... последнее... Лежу... уже лежу на полу... а мысли все оттуда... Все равно... Вот я выхожу за ворота лагеря, ворота железные, и они с лязгом за моей спиной закрываются. Я – свободная, меня освободили. Иду и уговариваю себя – только не оглядываться! Умирала от страха, что кто-то сейчас меня догонит и вернет. Надо будет возвращаться. Прошла немного и вижу у дороги березку... простую березку... Подбегаю к ней, обнимаю, прижимаюсь всем телом, рядом какой-то куст, я и его обнимаю. Первый год было столько счастья... от всего! *(Долго молчит.)* Соседка услышала запах газа... Милиция взломала дверь... Пришла я в себя в больнице и первая мысль: где я? Я – в лагере? Как будто у меня не было другой жизни... и ничего больше не было... Сначала вернулись звуки... потом боль... Все при-



чиняло боль: любое движение, глотнуть воздух, пошевелить рукой, открыть глаза. Весь мир – это было мое тело. Потом мир раздвинулся и стал выше; я увидела медсестру в белом халате... белый потолок... Я очень долго возвращалась... Рядом со мной умирала девушка, она умирала несколько дней, лежала вся в этих трубках и во рту трубка, даже кричать она не могла. Почему-то ее нельзя было спасти... И я смотрела на эти трубки и представляла в подробностях: вот это я лежу... я умерла... но я не знаю, что я умерла и меня больше нет. Я уже побывала там... *(Остановилась.)* Не надоело слушать? Нет? Скажите... я могу замолчать...

Мама... Мама за мной приехала, когда я пошла в шестой класс. Двенадцать лет она отсидела в лагере, три года мы были вместе, а девять раздельно. Теперь нас отправляли на поселение и разрешали ехать вдвоем. Это было утро... Я шла по двору... Кто-то меня окликнул: «Анечка! Анюточка!». Никто меня так не звал, никто не звал меня по имени. Я увидела женщину с черными волосами и закричала: «Мама!!» Она обняла меня с таким же ужасным криком: «Папочка!» – в юности я была очень похожа на отца. Сколько разных чувств, сколько радости! Я несколько дней ничего не помнила от счастья, я никогда больше не переживала такого счастья. Счастья! Но скоро, очень скоро оказалось, что мы с мамой не понимаем друг друга... мы стали чужими людьми... Я искренне во все верила... хотела скорее вступить в комсомол, чтобы бороться с какими-то невидимыми врагами, которые хотят разрушить нашу самую лучшую жизнь. А мама смотрела на меня и плакала... и молчала... В Караганде нам выдали документы и направили в ссылку в город Белово, далеко за Омском. В Сибирь... Месяц мы туда ехали... ехали и ехали... ждали и пересаживались. По пути отмечались в энкавэдэ, и нам все время предписывали – следовать дальше. Нельзя поселиться в приграничной полосе, нельзя в близости оборонных предприятий, больших городов... такой длинный-длинный список, куда нам нельзя. До сих пор я не могу видеть вечерних огней в домах. Нас выгоняли ночью с вокзалов, мы шли на улицу. Метель, мороз. Горели огни в домах, там были люди, они жили в тепле, они грели чай. Нам надо было постучать в дверь... это самое страшное... Никто не хотел пускать ночевать... «Мы пахнем эками...» – говорила мама. *(Плачет.)* В Белово стали жить «на квартире» – в землянке. Потом опять жили в землянке, и она уже была наша. Я заболела туберкулезом, не могла от

слабости стоять на ногах, страшно кашляла. Сентябрь... Все дети собираются в школу, а я не могу ходить. Меня забрали в больницу. Помню, что в больнице все время кто-то умирал... Умерла Сонечка... Ванечка... умер Славик... Мертвых я не боялась, но я не хотела умирать. Я очень красиво вышивала, рисовала, все хвалили: «Какая талантливая девочка. Тебе надо учиться...» И я думала: тогда почему я должна умереть? И каким-то чудом я выжила... Однажды открыла глаза: на тумбочке стоял букет черемухи. Не знаю – от кого? Поняла, что буду жить... Ну, буду жить! Вернулась домой – в землянку. Мама за это время пережила очередной инсульт. Я ее не узнала... Увидела старую женщину... В этот же день ее увезли в больницу. В доме я не нашла никакой еды... ни крошек, ни даже запаха! Сказать кому-нибудь об этом постеснялась... Нашли меня на полу, я еле дышала. Кто-то принес кружку теплого козьего молока... Все, все... все... Все, что я помню о себе: как умирала и воскресала... уми... умирала... *(Не может говорить из-за слез.)* Немного окрепла... Красный Крест купил билет, и меня посадили на поезд. Наконец, я возвращалась... ехала домой, меня направили в родной Смоленск – в детдом. Там началась знакомая жизнь. Я не знаю, почему... плачу? Я же все... Все... все о своей жизни знаю... *(Молчит.)* И там мне исполнилось шестнадцать лет... У меня появились друзья, за мной начали ухаживать... *(Улыбнулась.)* Красивые ребята за мной ухаживали... Взрослые... Но была у меня такая странность: если я кому-нибудь нравилась, мне становилось страшно. Страшно, что кто-то обратил на меня внимание, а признания: «Ты – красивая... Какая ты красивая!» – меня просто пугали. За мной невозможно было ухаживать, потому что на свидание я брала с собой подругу. Если меня приглашали в кино, я тоже шла не одна – вдвоем или втроем. На первое свидание к своему будущему мужу я пришла с подругой... Удивился... Долго потом вспоминал... А я всю жизнь чего-то боюсь...

День смерти Сталина... Весь детдом вывели на линейку, вынесли красное знамя. Сколько длились похороны, столько мы стояли по стойке «смирно», часов шесть или восемь. Кто-то падал в обморок... Я плакала... Как жить без мамы, я уже знала. Но как жить без Сталина? Как жить... Почему-то я боялась, что начнется война. *(Плачет.)* Мама... Через четыре года... это я уже училась в архитектурном техникуме... вернулась из ссылки мама, вернулась насовсем. Приехала она с деревянным чемоданчиком, в нем – цинковая

утятница (она до сих пор у меня, не могу расстаться), две алюминиевые ложки и куча драных чулок. «Ты – плохая хозяйка, – корила меня мама, – не умеешь штопать». Штопать я умела, но я понимала, что эти дыры на чулках, которые она привезла, никогда не заштопать. Никакой рукодельнице! У меня стипендия – восемнадцать рублей, у мамы пенсия – четырнадцать рублей. Это был для нас рай – хлеба ешь, сколько хочешь, еще хватало на чай. У меня был один спортивный костюм и одно ситцевое платье, которое я сама сшила. В техникум зимой и осенью я ходила в спортивном костюме. И мне казалось... такое у меня было представление... что у нас все есть. Если я заходила в нормальный дом, в нормальную семью, сидела волчком – зачем столько вещей? Столько ложек, вилок, чашек... Меня ставили в тупик самые простые вещи... наипростейшие... Зачем, например, две пары туфель? И я до сих пор к вещам равнодушна, к дому, к быту. Невестка вчера звонит: «Ищу коричневую газовую плиту». После ремонта она подбирает на кухню все коричневое – мебель, занавески, посуду. Чтобы... Как в импортном журнале... Часами сидит на телефоне, читает все, где продам-куплю: «И это хочу! И это...» Раньше все жили одинаково, обстановка простая. Некому было завидовать. А теперь? Дорвались! Не люди, а желудки... человек превратился в желудок... В брюхо... *(Махнула рукой.)* Я у сына редко бываю... Там все новое, дорогое. Как в офисе... *(Молчит.)* Чужие мы... Чужие родные... *(Молчит.)* Хочу вспомнить молодую маму... Но молодую ее не помню... помню только больную... Ни разу мы не обняли друг друга, не поцеловали, не было между нами ласковых слов. Не помню... Наши матери теряли нас дважды: первый раз – когда нас забирали у них маленькими, и второй раз – когда они, старые, возвращались к нам, уже взрослым. Дети были чужие... детей им подменили... Их воспитала другая мать – «Родина – ваша мать... Ваша мама...». «Мальчик, где твой папа?» – «Еще в тюрьме». «А где твоя мама?» – «Уже в тюрьме». Своих родителей мы представляли только в тюрьме. Где-то далеко-далеко... никогда рядом... Я одно время хотела убежать от мамы назад в детдом... Как же! Как же... Она не читала газеты и не ходила на демонстрации, не слушала радио. Не любила песни, от которых у меня сердце из груди выскакивало... *(Опять тихо напевает.)* «И врагу никогда не добиться,/ Чтоб склонилась твоя голова./ Дорогая моя столица,/ Золотая моя Москва...» А меня тянуло на улицу. Я ходила на все военные парады... спортив-

ные праздники... До сих пор помню этот полет! Когда уже не только ты, а ты уже часть чего-то большого... огромного... Там я была счастлива, а с мамой – нет. И я это никогда не поправлю... Мамы давно нет... Я обнимала, гладила ее только мертвую. Она уже лежала в гробу... и во мне проснулась такая нежность! Такая любовь! Столько чувств... Лежала она в старых валенках, ни туфель, ни босоножек у нее не было, а мои не налезли на ее распухшие ноги. Я ей сказала столько ласковых слов, столько признаний – слышала она их или не слышала? Целовала и целовала ее. Говорила и говорила о том, как я ее люблю... *(Плачет.)* Я чувствовала, что она еще здесь... Я верила...

*(Уходит на кухню. Скоро зовет меня: «Обед на столе. Я всегда одна, а хочется хотя бы пообедать с кем-нибудь вдвоем». Я понимаю, что отказать нельзя.)*

...Никогда не надо возвращаться... потому что... да... Не надо... А как я бежала туда! Как хотела! Пятьдесят лет... пятьдесят лет я возвращалась на то место... мысленно днем и ночью я там была.

Зима... чаще снилась... На улице такой мороз, что даже собак не видно, даже птиц. Воздух стеклянный и дым из труб – столбом к небу. Или конец лета... трава уже остановилась в росте, покрылась тяжелой пылью... И я... я надумала туда поехать. Взяла отпуск. Никак не решаюсь... Так неделя прошла, вторая... . В одно утро сама себе говорю: «Завтра еду в Караганду». Произнесла вслух... и поняла, что еду. Еду – все! Что такое – Караганда? Чистая, голая степь на сотни километров... горелая летом... При Сталине построили в этой степи десятки лагерей: Степлаг, Карлаг, Алжир... Песчанлаг... Привезли сотни тысяч эков... Шли и шли эшелоны... товарняки с заключенными... А умер Сталин, разрушили бараки, сняли проволоку – и получился город. Город Караганда... Я еду... Еду! В свой казахский кошмар... *(Молчит.)* Дорога длинная... Познакомилась в поезде с женщиной... учительницей с Украины. Она искала могилу своего отца и ехала в Караганду второй раз: «Не бойся, – учила меня. – Там уже привыкли, что какие-то странные люди приезжают со всего света и разговаривают с камнями». У нее было с собой письмо от отца, единственное его письмо из лагеря: «...лучше красного знамени все равно ничего нет...» Так оно заканчивалось... Этими словами... Такие мы, люди! Смешно, да? Глупо? Я у вас спрашиваю... Сама себя я боюсь спросить... *(Задумывается.)* Она рассказывала, как отец подписал бу-

магу, что он польский шпион. Следователь переворачивал табуретку, в одну из ножек вбивал гвоздь, усаживал на него отца и вращал вокруг оси. И так добился своего: «Хорошо – шпион». Следователь спросил: «А чей шпион?» Отец в свою очередь спросил: «А чьи бывают шпионы?» Дали на выбор – немецкий или польский. «Пишите – польский». Знал он по-польски два слова: «дзенькуе бардзо» и «вшистко едно». Два слова... *(Долгая тяжелая пауза.)* А я... Я ничего про своего отца не знаю... Один раз мама проговорила... будто бы он сошел с ума от пыток в тюрьме. Все время там пел... В купе с нами ехал молодой парень. Мы всю ночь говорили... плакали... А утром этот парень посмотрел на нас: «Жуть! Триллер какой-то!» Лет ему восемнадцать-двадцать, Господи! Столько всего пережили, а рассказать некому... Рассказываем друг другу...

Вот и Караганда... Кто-то стал шутить: «Вы-хо-ди-и! На выход с вещами!» Кто смеется, кто плачет. На вокзале... первое, что услышала: «Шалава... курва... лягавые...» Знакомый язык эков. Тут же я все эти слова вспомнила... Тут же! У меня – озноб. Никак не могла унять дрожь внутри, сколько я там была, столько внутри меня все дрожало. Сам город, конечно, не узнала, но сразу за ним, за последними домами начинался знакомый пейзаж. Ничего я не забыла... Тот же сухой ковыль и белая пыль... и орел высоко-высоко в небе. И названия поселков знакомые – Вольный, Сангородок... Все бывшие лагерные точки... Мне все время хотелось говорить... со всеми разговаривать... В автобусе сел рядом старик, понял, что я не местная; «Кого ищете?» – «Да, вот... – начала. – Тут лагерь был...» – «А, бараки? Последние два года назад разобрали. Теперь там наполовину пустая земля, а наполовину отдали людям под огороды. У сына моего там участок... так, знаете, неприятно... На картофельных грядках по весне от снега и от дождей вылазят кости. Никто не брезгует, потому как привыкли, вся земля тут в костях, как в камнях. Сбрасывают в межу, топчут сапогами. Притаптывают. Привыкли уже... Тронь только чернозем... пошевели...» У меня перехватило дыхание... Как в обмороке... А старик повернулся к окну – показывает: «Вон там... за этим магазином лет десять, как кладбище засыпали. И за баней...» Сижу – не дышу. А чего я ждала? Что тут пирамиды будут стоять! Курганы Славы насыпят!? «Линия первая... теперь улица имени... Вторая линия...» Смотрю в окно – и не вижу, слепая от слез. На остановках казашки продавали огурцы, поми-

доры... смородину ведрами... «Только с грядки... Со своих огородов...» *(Молчит.)* Господи! Боже мой... надо сказать, что... Мне физически трудно было дышать... что-то со мной там происходило... За несколько дней высохла вся кожа, стали ломаться ногти. Что-то творилось со всем организмом... Упасть на землю и лежать. Не подниматься. Степь... она, как море... Шла-шла... и, наконец, упала... упала возле какого-то маленького железного крестика, до самой перекладины, вросшего в землю. Я кричала, со мной была истерика. Вокруг никого... одни птицы... *(После короткой передышки.)* Жила в гостинице. Вечером в ресторане дым коромыслом... водка... Один раз я там ужинала... За моим столом заспорили двое мужчин, спорили до хрипоты... до мата... Первый: «Я до сих пор остаюсь коммунистом... Мы должны были построить социализм... Кто бы Гитлеру хребет сломал без Магнитки и Воркуты?» – Второй: «А я со здешними стариками разговаривал... Они все в лагере служили или работали, не знаю, как это назвать, одним словом: повара, вертухаи, особисты... Другой работы тут не было, а эта – сытая: жалование, паек и обмундирование. Так и говорят – «работа». Лагерь – для них – работа! Служба! А вы о каких-то преступлениях. О душе и грехе. Не кто-нибудь сидел, а народ, и сажал, и охранял тоже народ, не пришлый, не призванный откуда-то, а этот же. Свой. Родной. Это сейчас все надели полосатые рубашечки. Все – жертвы. Виноват один Сталин. А-а-а... подумайте... Миллионы зэков нужно было выслеживать, арестовывать, допрашивать, гонять по этапу, стрелять за шаг в сторону... Были исполнители... маленькие... средние... большие... Миллионы исполнителей...» Официант принес одну бутылку... вторую... Я слушала... слушала я! А они пили и не пьянели... Я... как парализованная сидела и не могла уйти... Первый: «А мне рассказывали, что уже бараки стояли пустые... закрытые... Но по ночам ветер приносил оттуда крики и стоны...» – Второй: «Мистика. Начинается мифология. А вся наша беда в том, что у нас палачи и жертвы – это одни и те же люди...». И опять: «Сталин принял Россию с сохой, а оставил с атомной бомбой...» Мне кажется, я там не сомкнула глаз три дня и три ночи. Днем ходила и ходила по степи... ползала... До темноты, до огней. Один раз подвез в город мужчина... лет пятьдесят, а, может, и больше... как мне, Пьяноватый был... разговорчивый... «Могилы ищите... Понимаю... живем на кладбище, можно сказать. А мы... Одним словом, у нас о прошлом не любят вспоминать...

Табу! Старики умерли... это наши родители... а те, кто еще жив, молчат. У них воспитание сталинское. Горбачев, Ельцин... это сегодня... А кто знает, что будет завтра? Куда повернёт...» Слово за слово, и я узнала, что отец его был офицер, «при погонах». При Хрущеве хотел отсюда уехать, но ему не разрешили... все давали подписку о неразглашении государственной тайны: и те, кто сидел, и те, кто сажал. Отбыв срок, уехать из этих проклятых мест могли только блатари и уголовники, а всех остальных тут оставляли навечно. Жили они потом вместе... бывало, что в одном доме, «Эх, жизнь наша, жестяночка!» – повторял. Вспомнил случай из своего детства... Как «сидельцы» сговорились и задушили бывшего вертухая... зверь был. А отец его пил по-черному. Напьётся и плачет: «Мать вашу! Всю жизнь язык на прищепке. Мы – песочек маленький...» Ночь. Степь. Мы вдвоем – дочь жертвы и сын палача... можно так сказать... А о чем разговор? О том, что ничего о своих родителях не знаем. Молчали они... Унесли свою тайну с собой... *(Еле сдерживается, чтобы не заплакать.)* Водка... водка – это не питьё. Это свобода... Вот рассказал... что отец никогда не ел рыбу, потому, как рыба, говорил, человеком может питаться. Брось голого человека в море, через несколько месяцев одни чистенькие кости останутся... Знал его отец это... откуда? Видел? Где видел? Где... До Казахстана служил возле Охотского моря. Там тоже были лагеря... Вот хотелось ему... сыну... с кем-то этим поделиться... мучило это его... Рассказал мне... может, первый раз... впервые... Рассказал и смотрит... Смотрит... И тут я вижу – он протрезвел... протрезвел и испугался. Я поняла – испугался. И что-то такое говорит... в таком духе, что, мол, хватит выкапывать мертвецов! Хватит! Я поняла... У них... у детей... никто подписку не брал, но они сами понимали, что надо держать язык за зубами. На прощание протянул руку. А я руки не подала... *(Заплакала.)*

Я искала до последнего дня, искала... И в последний день мне подсказали: «Сходите к Катерине Демчук. Старухе девяносто скоро, а все помнит». Провели, показали. Я увидела кирпичный дом с высоким забором. Постучала в калитку... Вышла – старая-старая, полуслепая. «Мне сказали, что вы в детдоме работали?» – «Я была учительница...» – «У нас учителей не было, а были командиры». Ничего не ответила. Отошла и поливает из шланга грядки... А я стою... не ухожу... не ухожу я! Тогда она неохотно провела меня в дом: в горнице крест с распятым Христом, в углу иконка. Я вспомнила

голос... лицо не вспомнила, а голос... «Твоя мама – враг. Вас можно бить и даже убить». Я узнала ее! Или очень хотела узнать? Могла не спрашивать, но я спросила: «Может, помните меня? Может...» — «Не-не... никого не помню. Маленькие вы были, все плохо росли. А мы действовали по инструкции». Я долго сидела, слушала ее жалобы; сын пьет, муж давно умер, пенсия маленькая. А жить в старости скучно. Ну, вот' Я подумала: ну, вот... вот... И вот! Через пятьдесят лет встретились... Я представила, что это она... вообразила себе в уме... в образе... Встретились – и что? И у меня: мужа нет... пенсия маленькая... Старость и больше ничего... (*Долго молчит.*) Назавтра я уехала... Что осталось? Недоумение... и обида... Только не знаю – на кого? А степь снится и снится... то она снится мне в снегу, то в красных маках. В одном месте, где стояли бараки – кафе... в другом – дискотека. Коровы пасутся... Не надо было возвращаться... Нет! Так горько плачем, так страдаем – а зачем? Зачем все было? Ну, еще двадцать... пятьдесят лет пройдет и затопчут все во прах, как будто нас и не было. Уже мода на Солженицына проходит... и на историю по Солженицыну... Раньше за «Архипелаг ГУЛаг» сажали в тюрьму. Читали тайком... ночью... Перепечатаывали на машинке, переписывали от руки. Я верила... верила, что если тысячи людей прочтут, то все переменится. Люди покаются... поплачут... А что вышло? Все, что писали в стол, напечатали, все, что тайно думали, сказали. И!?. Лежат эти книги на книжных развалах, пылятся... А люди бегут мимо... (*Молчит.*) Мы есть... и нас нет... Даже улицы, на которой я раньше жила, нет. Была улица Ленина... Все другое: вещи... люди... деньги... Были «товарищи», теперь «господа», но что-то «господа» у нас плохо приживаются. Мои знакомые... бывшие коммунисты... ищут у себя дворянские корни... крестятся и постятся... Обсуждают всерьез – спасет Россию монархия или не спасет? Любят царя, над которым в семнадцатом каждая курсистка смеялась... Чужая страна... Незнакомая... не моя... Раньше, когда гости собирались, обсуждали книги, спектакли, а теперь; кто что купил, где и за сколько – отдыхал? Курс валюты? И анекдоты. Быть серьезным и искренним неприлично. Не модно. Ничего не жалко, над всем можно посмеяться. Все смешно. Анекдоты про Сталина... про войну... Про Чапаева... «Папа, а кто такой Сталин?» – «Сталин был наш вождь...» – «А я думал, что вожди бывают только у дикарей». У армянского радио спрашивают: «Что осталось от Сталина?» Армянское радио



отвечает: «От Сталина осталось две смены нижнего белья, пара сапог, несколько кителей, один из них праздничный, четыре рубля и сорок копеек советских денег... И гигантская империя...» Второй вопрос; «Как русский солдат до Берлина дошел?» – «А русский солдат не такой смелый, чтобы отступить». Я перестала ходить в гости... И на улицу редко выхожу. Что я там увижу? Рекламу... казино... Вместо Маркса – доллар... вместо улыбки Гагарина... Праздник Маммоны! Золотая лихорадка! Не осталось никаких ценностей... кроме мошны... А я? Я – нищая, мы все – нищие. Все мое поколение... бывшие советские люди... Ни счетов, ни недвижимости. Вещи у нас тоже советские – копейки никто не даст. Где наш капитал? Все, что у нас есть, это – наши страдания... то, что мы пережили. У меня... две справки из военкомата на обыкновенных листочках из ученической тетрадки: «...реабилитирован...» и «...реабилитирована... в связи с отсутствием состава преступления...» На папу и на маму. Когда-то... *(Молчит.)* Когда-то я гордилась сыном... Военный летчик, служил в Афганистане. Сейчас... мой сын... Он на рынке торгует... Майор... два боевых ордена! А он – лавочник!! Раньше это называлось спекуляцией, а теперь бизнесом. В Польшу – водку и сигареты, лыжи и гвозди, а назад – тряпки. Шматье! В Италию – янтарь, а оттуда – сантехнику: унитазаы... краны... вантузы... Тьфу! В нашей семье сроду не было торгашей! Их презирали! Никогда не приму... И не хочу так жить... Не буду...

Вот... что я вам скажу... Раньше люди мне нравились больше... те люди... они были свои... С той страной я прожила всю ее историю. А к этой, что сейчас, я равнодушна, она не моя... *(Вижу-устала. Выключаю диктофон. Отдает мне листок с телефоном сына.)* Вы просили... *(Смотрит куда-то вдаль. Мимо меня.)* Сын расскажет другую историю... Я знаю... Между нами пропасть, будто века прошли. Между нами... *(Сквозь слезы.)* А теперь оставьте меня... Я хочу быть одна...

## Сын

(Он долго не разрешал включить диктофон. Потом неожиданно сам предложил: «А вот это запишите... Тут уже – история, а не семейные конфликты – отцы и дети. Имя не называйте...»)

–... вам все известно... Но... что мы можем сказать о смерти? Ничего вразумительного... И-и... а-а... .. о-о! Абсолютно незнакомое чувство...

С чего начнем? Давайте... У меня было обычное детство. До сих пор люблю советские фильмы, есть в них что-то такое, что не найдешь в современных фильмах. Я это «что-то» тоже любил... А что – не знаю? Я много читал, все тогда много читали, я читал о челюскинцах и Чкалове... о Гагарине и Королеве... Но я долго ничего не знал о 37-ом годе... Однажды спросил мать: «Где умер наш дедушка?» – она упала в обморок. Отец сказал: «Никогда больше маму об этом не спрашивай». Я был октябренок, пионером, не важно, верил я в это или нет. Может, верил... скорее не задумывался... Комсомол. Песни у костра: «Если друг оказался вдруг / И не друг, и не враг, а так...» И так далее... *(Пауза.)* Мечта? Мечтал быть военным. Летать! Престижно, красиво. Все девушки мечтали выйти замуж за военного. Любимый писатель – Куприн. Тоже офицер! Красивая форма... Красивая смерть! Мужские попойки... Дружба! Это было привлекательно... это принималось с юношеским восторгом. И родители поддерживали... они меня воспитывали так: «человек выше», «человека невозможно», «человек – это звучит гордо». Я до сих пор не пойму, почему тогда было столько идеалистов? А сейчас их нет. Какой идеализм у поколения пепси? Прагматики... Окончил военное училище и служил на Камчатке. У границы. Там, где только снег и сопки. Единственное, что мне всегда нравилось в моей стране – это природа. Это – да! Через два года послали в военную академию – окончил с отличием. Очередные звездочки! Карьера! Похоронили бы на лафете с салютом... *(С вызовом.)* А сейчас? Из советского офицера получился... бизнесмен. Торгую итальянской сантехникой... Напророчил бы мне это кто-нибудь десять лет назад... Я бы этого Нострадамуса... даже бить не стал – посмеялся бы шутке, Я был абсолютно советский – любить деньги стыдно, любить надо мечту... *(Закуривает и молчит.)* Жалко... забывается многое...

Забывается, потому что слишком быстро все происходит. Калейдоскоп. Сначала я влюбился в Горбачева, потом в нем разочаровался. Ходил на демонстрации и орал вместе со всеми: «Ельцин – да! Горбачев – нет!» Кричал: «Шестую статью – доло-о-ой!... о-о-ой!» И даже расклеивал какие-то листовки. Говорили и читали, читали и говорили. Чего мы хотели? Наши родители хотели все говорить и все читать... Они мечтали жить при гуманном социализме... с человеческим лицом Сахарова... Лихачева... А молодые? Мы... Мы тоже мечтали о свободе... Но что это такое, никто не знал. Хотели жить, как на Западе... Это было... *(Задумался.)* Было красиво... смешно и страшно. Все чего-то ждали... «Перемен хотим... Перемен...» – пел Виктор Цой. Мечтали о революции... боялись войны... Было красиво и страшно! В продуктовых магазинах стояли одни трехлитровые банки с березовым соком... и маринованной капустой. Талоны на макароны, масло, крупу... на табак... Водка – валюта. В очереди за водкой могли убить! Но напечатали Платонова... Гроссмана... В восемьдесят девятом году я вернулся из Афганистана... Я думал, что я – герой, мы все, кто там были, герои. Вернулись на Родину, а Родины нет! Другая страна... Армия разваливалась... армию стали чернить... поносить... Вечером ходить в военной форме было небезопасно, могли избить. У нас в полку самолеты не летали – не было горючего. Экипажи сидели на земле – в карты резались и водку жрали. На офицерскую зарплату можно было купить десять буханок хлеба. Один мой друг застрелился... было много убийств среди офицеров... У всех – семьи, у меня – двое детей... собака и кот... Собаку перевели с мяса на творог. Жалко, что все это забывается... Офицеры... Мы по ночам разгружали вагоны, работали сторожами. Асфальт заливали. Вместе с нами вкалывали кандидаты наук... врачи... хирурги! Даже пианиста из филармонии помню... Я научился класть керамическую плитку и устанавливать бронированные двери. И так далее... Начался бизнес... кто вез компьютеры... кто джинсы «варил»... *(Смеется.)* Двое договариваются: один покупает цистерну вина, другой продает. По рукам! Один идет искать деньги, а второй думает, где теперь раздобыть цистерну вина? И анекдот, и правда. Ко мне тоже такие приходили: кроссовки рваные, а продавали вертолет... *(Пауза.)*

Но мы выжили! Выжили... И страна выжила! А что мы знаем о душе? Только то, что она есть. Я... мои друзья... у нас все нормально: у одного – строительная фирма, у другого – продуктовый магазинчик: сыр, мясо, колбасы... третий мебе-

люю торгует... У кого-то капитал за границей... у кого-то дом на Кипре... Один когда-то мечтал стать капитаном дальнего плавания, а второй – полететь в космос. Ну, вот соберемся... Приносим дорогой коньяк, но пьем водку. Пьем водку и под утро пьяные обнимаемся и орем комсомольские песни: «Комсомольцы – добровольцы... / Мы сильны нашей верной дружкой...» А о чем мы говорим? Мы говорим: «Беспредел. Сталин нам нужен». А наши дети? Никто уже не мечтает о космосе, никто не хочет быть капитаном дальнего плавания, все хотят стать бухгалтерами. А спросите у них о Сталине... Напрочь отрубил! Приблизительное представление... Я дал сыну почитать Солженицына – он все время смеялся. Слышу! – смеется. Для него обвинение, что человек был агентом трех разведок уже смешно. «Папа... Ни одного грамотного следователя, в каждом слове – орфографическая ошибка. Даже слово расстрелять они пишут неправильно... с одним «с». Ты посмотри...» Он никогда не поймет меня... и мою мать, потому что он ни одного дня не жил в советской стране. Моя мать... я... и мой сын... Мы все живем в разных странах, хотя все это – Россия. Но мы чудовищно друг с другом связаны. Чудовищно! Все чувствуют себя обманутыми...

... я считаю, что социализм – это алхимия. Алхимическая идея. «К кому обратиться, чтобы вступить в коммунистическую партию?» – «К психиатру». В зале – хохот. А им... нашим родителям... моей матери... хочется услышать, что они прожили большую и не бездарную жизнь и верили в то, во что стоит верить. А что они слышат? Они слышат со всех сторон, что их жизнь полное говно... и у них ничего не было, кроме их чудовищных ракет и танков. Они готовы были отразить любого врага. И отразили бы! Но без всякой войны все рухнуло. Никто не может понять – почему? Тут надо думать... А вот думать они не умеют! Их не научили! Они умеют бояться. Страдать. Я где-то читал, что страх – это тоже форма любви. Кажется, эти слова принадлежат Сталину... (Пауза.) Сегодня в музеях пусто... А церкви полные, потому что всем нам нужны психотерапевты. Психотерапевтические сеансы. Мы – последние дети Великой мертвой Империи. Страшное одиночество! У всех – от таксиста и клерка в офисе... до народного артиста... Все безумно одиноки! И так далее... так... Жизнь полностью переменялась. Мир теперь разделен по-другому: не на «белых» и «красных», не на тех, кто сидел и кто сажал, кто читал Солженицына и кто его не читал, а на тех, кто может купить и кто не может. Вам это

не нравится? Понимаю... Вы... даже я... Мы были романтиками... А наивные шестидесятники? Секта честных людей... Они думали, что коммунизм падет, и русский человек сейчас же бросится учиться свободе – прежде всего он бросился учиться жить. Жить! Все попробовать. Вкусная еда, модная одежда... путешествия... Он захотел увидеть пальмы и пустыню. Верблюдов... А не гореть и сгорать, все время бежать куда-то с факелом и топором. Нет... просто жить... как другие живут... Во Франции и Монако... Ведь можно и не успеть! Дали землю, но могут забрать, разрешили торговать, но могут посадить. И фабрику отберут, и магазинчик... Сверлит этот страх в мозжечке... Какая история, надо скорее деньги зарабатывать! Никто не думает ни о чем таком великом... грандиозном... Объелись великим! Хочется человеческого... Нормального! Обыкновенного... ну, обыкновенного, понимаете. Первыми в космос полетели... танки клепали самые лучшие в мире, но не было стирального порошка и туалетной бумаги. Эти проклятые унитаза всегда текли! Полиэтиленовые пакеты мыли и сушили на балконе. А наличие в доме видеомэгафона было вроде личного вертолета. Парень в джинсах... не зависть к нему, а декоративный интерес... И так далее... Вот она – плата! Это была плата за ракеты и космические корабли. За великую историю!

... в больнице... рядом с матерью лежала женщина... Когда я заходил в палату, то сначала видел эту женщину. Один раз... Я наблюдал... Она что-то хотела сказать своей дочери – не смогла: м-ма... м-му... Пришел муж... она попробовала говорить с ним – не получилось. Тогда она повернулась ко мне: м-ма... м-му... И вот она... дотягивается до своего костыля и, понимаете, начинает бить им по капельнице. По кровати... Она не чувствовала, что она бьет... рвет... Она хотела говорить... Ну, а с кем сегодня можно поговорить? Я думаю: никто не понимает, что произошло...

... я всю жизнь любил своего отца... Он старше матери на пятнадцать лет, был на войне. Но война его не раздавила, как других... не привязала к себе, как к самому значительному событию жизни. До сих пор он ходит на охоту, рыбалку. Танцор. Два раза был женат... на красивых женщинах... Детское воспоминание... Идем в кино, отец меня останавливает: «Посмотри, какая у нас мама красивая!» У него никогда не было животного гонора войны, который есть у воевавших мужчин: «Выстрелил... Завалил... Мясо из него полезло, как из мясорубки...» Он вспоминает смешное... Какие-то глупые

анекдоты... Как в День Победы они с товарищами пошли в деревню к девкам и взяли в плен двух немцев. Те в деревенский сортир залезли... в яму... Расстрелять жалко! – война-то кончилась. Настрелялись. А подойти близко невозможно... Отцу повезло: на войне могли убить – не убили, до войны могли посадить – не посадили. Счастливчик! У отца был старший брат... дядя Ваня... Он уже умер... У него все сложилось по-другому... в тридцать девятом – на рудники под Норильском. Вернулся через десять лет... с усохшей рукой, без зубов и с раздутой печенью. Работал на своём заводе, на той же должности, и сидел он в том же кабинете, за тем самым столом... (Молчит.) Выматериться бы... (Молчит.) А напротив него... сидел тот, кто на него донес. Все это знали... и дядя Ваня знал, что тот донес. И они... вот об этом напишите! Они вместе ходили на собрания и демонстрации. Читали газету «Правда»... одобряли политику партии и правительства... Пили водку за одним столом. И так далее... Это – мы! Наша жизнь! Мы такие... Представьте себе палача и жертву Освенцима, сидящих в одном кабинете... в одном окошечке бухгалтерии получающих зарплату. А некоторых... даже с одинаковыми орденами после войны... Наша жизнь... Что в ней поймёшь? Я не понимаю... Дядя Ваня... он вспоминал, что на допросах его так били, что он называл имена всех своих друзей и знакомых. Назовешь! Когда тебя за обе ноги голого подвешат к потолку, а в нос, в рот... во все дырки, которые у тебя есть, нальют нашатырного спирта. Всех вспомнишь! Следователь мочился ему в ухо и кричал; «Ты умных... Умных вспоминай!» И он вспоминал... Потом он некоторых из этих своих знакомых там... в бараках встретил... «Кто донес?» – гадали они. Кто донес? После допроса дядю Ваню приносили в камеру на носилках, мокрых от крови и мочи... В собственном говне... Кто донес? Я не знаю, где человек кончается... А вы знаете?

...стариков наших жалко, конечно... Пустые бутылки на стадионах собирают, ночью в метро сигаретами торгуют... На помойках копаются... Но старики наши не безвинны... Страшная мысль! Крамольная... Самому страшно... (Молчит.) Но я этого никогда не скажу своей матери...

... хочу понять... но никто об этом не говорит... Если бы я это где-то прочитал или от кого-то услышал – не поверил бы, А в жизни бывает... бывает, как в плохом детективе... Встреча с Иваном Д., пусть будет так... фамилию не назову... Его нет... А дети? Внуки? Сын за отца не отвечает.... старая

пословица... Я собирался жениться на его внучке. Красивая девушка... Уже мы обручальные кольца купили... и платье белое для невесты. Была любовь... Ну, да! Счастливые! Я уже жил у них... По утрам пили чай... и обедали вместе. И водку пили. Семья большая – внуки, пра... правнуки, зятя, невестки. Один зять – профессор. Когда старик злился, всегда произносил одну и ту же странную фразу: «Да, я таких... Они своего внуку меня ели...» Никто не понимал... К нему приходили пионеры, записывали его воспоминания... При мне он уже болел, а раньше выступал в школах, завязывал отличникам красные галстуки. Почетный ветеран. Каждый месяц – продуктовый спецпай. Один раз я поехал с ним за этим пайком... В каком-то подвале нам выдали: палку сервелата, банку маринованных болгарских огурцов и томатов, импортные рыбные консервы, венгерскую ветчину в банке, зеленый горошек, печень трески... банку икры... По тем временам – дефицит! И так далее... Меня он принял сразу... «люблю военных и презираю «пиджаки». Показал свое дорогое охотничье ружье: «Тебе оставляю». Тридцать лет он возглавлял городское общество рыбаков и охотников. До старости, хвалился, стрелял метко. Любил военные фильмы... Рассказывал много о войне... «В бою... по далекой цели стрелять – это одно... Все стреляют. А вот так... вывести человека на расстрел. Человек стоит в трех метрах...» Всегда что-нибудь такое выдаст... Скучно с ним мне не было.

Я приехал в отпуск... Лето. Жили все на большой даче. Проснусь – старик уже на огороде: «Душа у меня крестьянская. Я в Москву из Твери в лаптях пришел». Вечером он долго сидел на террасе, курил. Секретов от меня не было: его выписали из больницы умирать – неоперабельный рак легких. Признался: «Я всю жизнь был материалистом, а перед смертью вот... к Богу пришел». Да... Старик мне нравился... Нравилось вечером сидеть с ним на кухне... Остались раз вдвоем – все уехали в город. Двое мужчин на пустой даче и две бутылки водки. «Плевать мне на докторов! Я уже пожил». – «Налить?» – «Наливай». И поехало... Я не сразу понял... Ему нужен был священник, он думал о смерти. Я не сразу это сообразил... Теперь неприятно об этом вспоминать, но в тот момент, когда он стал откровенничать, у меня мысль... была эта страшная мысль: все, что он говорит, ужасно, но мне интересно. Интересом было больше, чем страхом. Если честно... по правде сказать... И так далее...

Мы же ничего о них не знаем... о палачах... Мы выросли среди жертв... среди этих разговоров... А палачи... они только в книгах... не реальные люди... А тут... Сначала шёл обычный разговор... Солженицын, Сталин... фильм «Покаяние»... Время перестройки... Только об этом на кухнях тридели... под водочку и солёный огурец... А он завёлся: «Сопляк... молодозелено... Ты меня послушай...» — И мат... Мат я убираю... «— Ты послушай...»

Запомнил я мало, отрывками... отрывками... Шок! Конечно, шок... Зачем он мне это вывалил? Может, спьяну? Срок... или такая минута... Мурашки по коже... напились мы, конечно...

«... когда меня взяли на работу в энкавэдэ, я страшно гордился... С первой зарплаты купил себе хороший костюм...

...для меня война была отдыхом... Расстреливаешь немца — он кричит по-немецки. А эти... эти кричали по-русски... Эти вроде свои... В литовцев и поляков было легче стрелять. А эти — на русском: «Истуканы! Идиоты! Кончайте скорее!» Ё..!! К концу мы все в крови... вытирали ладони о собственные волосы... Иногда выдавали кожаные фартуки... Молодой ты... Перестройка! Перестройка! Веришь болтунам... Пусть покричат: свобода! свобода! Побегают по площадям... Топор лежит... Топор хозяина переживет... Запомнил! Ё..!! Я — солдат. Понял? Работа не дай Бог! Недобитый он упадет и визжит, как свинья... харкает кровью... Рев и мат стоял с обеих сторон... Есть перед такой работой нельзя... Я не мог. К концу смены обязательно приносили два ведра — ведро водки и ведро одеколона. Читал где-нибудь? То-то... Одеколоном мылись до пояса. Запах крови едкий... особенный запах... На запах спермы похожий... У меня была овчарка, так после работы она ко мне не подходила... Что молчишь? То-то... Если попадался боец, которому нравилось убивать, его из расстрельной команды переводили в другое место. Таких мы не любили. Попадались и такие... Много было деревенских, как я, деревенские посильнее городских, выносливее... но к этому делу приучали... Первые дни водили посмотреть... бойцы только присутствовали при казни или конвоировали приговоренных. Были случаи, что сходили с ума. Тут дело тонкое... Зайца убить... и то привычка нужна, не каждый способен. Ё..!! Ставишь человека на колени — выстрел почти в упор в левую затылочную часть головы... в область левого уха... Вас учили? Пистолеты у нас были системы «наган». У меня осталась глухота на правое ухо... потому что стреляешь с правой руки...



...скоро я стал командиром... и потребовал от начальства, чтобы два раза в неделю – массаж правой руки и указательного пальца на правой руке. Массаж всем обязательно...

...вручали нам грамоты... В грамотах писали: «за выполнение специального задания партии...» Ё...!! Этих грамот на отличной бумаге у меня – полный шкаф. Два раза в год – отправляли с семьей в хороший санаторий. Там было отличное питание... много мяса... отличное лечение... Много мяса...

...один раз погрузили приговоренных на баржи и вывезли в открытое море... Возвращаемся... баржи пустые... Тишина мертвая. У всех одна мысль: выйдем на берег... и нас там... Ё...!! Так и жили. Под кроватью у меня всегда стоял наготове деревянный чемоданчик: сменное белье, зубная щетка, бритва. Пистолет под подушкой... Готов был пустить себе пулю в лоб. Так жили... Так все жили! И солдат, и маршал... Тут было равенство...

... началась война... Я сразу попросился на фронт. На войне... Там смерти я не боялся... в бою умереть не так страшно... Прошел Польшу, Восточную Пруссию. Закончил воевать под Берлином. Имею два ордена и медали. Победа! После Победы... меня арестовали. Списки у особистов были наготове... Дали семь лет! Все семь лет я отсидел. До сих пор... понимаешь... до сих пор просыпаюсь по-лагерному – в шесть утра. За что сидел? За что сидел – не сказали... За что!? Ё...!!»

Может врал? Нет... не врал... Не похоже... Думаю, не врал... Утром я нашел причину... ерунду какую-то, и сгинул с дачи. Сбежал. Свадьба расстроилась... понятное дело. Какая свадьба! Я уже не мог вернуться в этот дом... увидеть снова старика... Не мог! Да-а-а... Уехал в часть. Невеста, конечно... Она сходила с ума... писала письма... Страдала. Да, и я... Но я не об этом... не о любви. Это отдельная история... Моя... Вот... старик... О нем... Убийца – это всегда интересно, чтобы там не говорили, убийца не может быть обыкновенным. К нему тянет... любопытно... Зло притягательно... гипнотизирует... Десятки книг о Гитлере... Десятки книг о Сталине: какой он был в семье... любимые женщины... вино... что читал... Это до сих пор интересно! Любимое вино дьявола... любимые сигареты... Кто они – Тамерлан, Чингисхан... Кто? И миллионы таких же... только маленьких, которые творили ужасные вещи, и только единицы сходили с ума. Все другие нормально жили, жили как все. Целовались с женщинами... ездили в автобусах, игрушки детям покупали... Каждый думал: это не я... Это

не я его подвешивал «на дыбы» и бил «мозги в потолок»... и не я – отточенным карандашом в женские соски... Это не я, а система... Сам Сталин... даже он говорил, что, мол, это не я решаю, а – партия. Учил сына: ты думаешь, что я Сталин. Нет! Сталин – это он! И показывал на свой портрет на стене.

Машина смерти, машина сатаны... она работала безостановочно... десятки лет... Логика была гениальная: жертва – палач – и он же в конце – тоже жертва. Как будто не человек это придумал... а кто-то другой... Маховик вращается, а виноватых нет. Нет! Все хотят, чтобы их пожалели... Все жертвы. В конце цепочки – все! Во-о-от! Я тогда по молодости испугался, я онемел, сейчас я больше бы расспросил... Палачи уходят незаметно... Нам ничего о них не известно. А я хочу знать... Мне это надо... Зачем? Я боюсь... Боюсь себя... После всего, что я о людях знаю, я боюсь себя. Боюсь... Я – человек обыкновенный... слабый... Я – и черный, и белый, и желтый... всякий... В советской школе нас учили, что сам по себе человек хорош... прекрасен... и моя мать до сих пор верит, что это ужасные обстоятельства делают его ужасным. А человек хорош! А это... не так... не так! Да-а-а... всю жизнь человек болтается между добром и злом. Или ты острым карандашом в соски... или тебе... Выбирай! «Смотрю телевизор – говорил старик, – опять – богатые и бедные. Одни икру жрут... покупают острова и самолеты, а другим на белый батон не хватает. Долго у нас так не будет! Сталина еще назовут великим... Топор хозяина переживёт... Вспомнишь мои слова... Ты спросил... (а я спрашивал) быстро ли кончается человек... насколько его хватает? Я тебе отвечу: ножку венского стула в задний проход – и нет человека. Ха-ха... нет человека... Одна фигня! Ха-ха...»

Я хотел бы уехать из этой страны... или хотя бы детей вытолкнуть. Мы уедем... Топор хозяина переживет... Я запомнил...